

Александр Фадеев

Молодая гвардия (фрагмент)

Глава первая

– Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Прелесть! Точно изваяние... Ведь она не мраморная, не алебастровая, а живая, но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа, – человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная... А это её отражение в воде, – даже трудно сказать, какая из них прекрасней, – а краски? Смотри, смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько оттенков – желтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто ослепительная, – у людей таких и красок и названий-то нет!..

Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, девушка с чёрными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими чёрными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в тёмной воде.

– Нашла время любоваться! И чудная ты, Уля, ей-богу! – отвечала ей другая девушка, Валя, вслед за ней высунувшая на речку чуть скуластое и чуть курносенькое, но очень миловидное свежей своей молодостью и добротой лицо. И, не взглянув на лилию, беспокойно искала взглядом по берегу девушек, от которых они отбились. – Ау!..

– Ау... ау... уу! – отозвались на разные голоса совсем рядом.

– Идите сюда!.. Уля нашла лилию, – сказала Валя, любовно-насмешливо взглянув на подругу.

И в это время снова, как отзвуки дальнего грома, слышались перекаты орудийных выстрелов – оттуда, с северо-запада, из-под Ворошиловграда.

– Опять!

– Опять... – беззвучно повторила Уля, и свет, с такой силой хлынувший из глаз её, потух.

– Неужто они войдут на этот раз! Боже мой! – сказала Валя. – Помнишь, как в прошлом году пере» живали? И все обошлось!

Но в прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, как бухает?

Они помолчали прислушиваясь.

– Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, как её нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, – мне делается так больно, словно все это уже ушло от меня навсегда, навсегда, – грудным волнующимся голосом заговорила Уля. – Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже приучила её не допускать в себя ничего, что может размягчить её, и вдруг прорвётся такая любовь, такая жалость ко всему!.. Ты знаешь, я ведь только тебе могу говорить об этом.

Лица их среди листвы сошлись так близко, что дыхание их смешивалось, и они прямо глядели в глаза друг другу.

У Вали глаза были светлые, добрые, широко расставленные, они с покорностью и обожанием встречали взгляд подруги. А у Ули глаза были большие, темнокарие, – не глаза, а очи, с длинными ресницами, молочными белками, чёрными таинственными зрачками, из самой, казалось, глубины которых снова струился этот влажный сильный свет.

Дальние гулкие раскаты орудийных залпов, даже здесь, в низине у речки, отдававшиеся лёгким дрожанием листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались на лицах девушек.

– Ты помнишь, как хорошо было вчера в степи вечером, помнишь? – понизив голос, спрашивала Уля.

– Помню, – прошептала Валя. – Этот закат. Помнишь?

– Да, да... Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, она скучная, рыжая, холмы да холмы, и будто она бесприютная, а я люблю её. Помню, когда мама ещё была здоровая, бывало, она работает на баштане, а я, совсем ещё маленькая, лежу себе на спине и гляжу высоко-высоко, думаю, ну как высоко я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в самую высочину? И мне вчера так больно стало, когда мы смотрели на закат, а потом на этих мокрых лошадей, пушки, повозки, на раненых... Красноармейцы идут такие измученные, запылённые. Я вдруг с такой силой поняла, что это никакая не перегруппировка, а идёт страшное, да, именно страшное, отступление. Поэтому они и в глаза боятся смотреть. Ты заметила?

Валя молча кивнула головой.

– Я как посмотрела на степь, где мы столько песен спели, да на этот закат – и еле слезы сдержала. А ты часто видела меня, чтобы я плакала? А помнишь, когда стало темнеть?.. Они все идут, идут в сумерках, и все время этот гул, вспышки на горизонте и зарево, – должно быть, в Ровеньках, – и закат такой тяжёлый, багровый. Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить... Что-то грозное нависло над нашими душами, – сказала Уля, и мрачный, тусклый огонь позолотил её очи.

– А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка? – сказала Валя с выступившими на глаза слезами.

– Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали! – сказала Уля. – Но что же делать, что же делать! – совсем другим, детским голоском нараспев сказала она, услышав голоса подруг, и в глазах её заблестело озорное выражение.

Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, подхватив в узкую загорелую жменю подол тёмной юбки, смело вошла в воду.

– Девочки, лилия!.. – воскликнула выскочившая из кустов тоненькая, гибкая девушка с мальчишескими отчаянными глазами. – Нет, чур моя! – взвизгнула она и, резким движением подхватив обеими руками юбку, блеснув смуглыми босыми ногами, прыгнула в воду, обдав и себя и Улю веером янтарных брызг. – Ой, да тут глубоко! – со смехом сказала она, провалившись одной ногой в водоросли и пятясь.

Девушки – их было ещё шестеро – с шумным говором высыпали на берег. Все они, как и Уля, и Ваяя, и только что прыгнувшая в воду тоненькая девушка Саша, были в коротких юбках, в простеньких кофтах. Донецкие калёные ветры и палящее солнце, будто нарочно, чтобы оттенить физическую природу каждой из девушек, у той позолотили, у другой посмуглили, а у иной прокалили, как в огненной купели, руки и ноги, лицо и шею до самых лопаток.

Как все девушки на свете, когда их собирается больше двух, они говорили, не слушая друг друга, так громко, отчаянно, на таких предельно высоких, визжащих нотах, будто все, что они говорили, было выражением уже самой последней крайности и надо было, чтобы это знал, слышал весь белый свет.

– ...Он с парашютом сиганул, ей-богу! Такой славненький, кучерявенький, беленький, глазки, как пуговички!

– А я б не могла сестрой, право слово, – я крови ужас как боюсь!

– Да неужто ж нас бросят, как ты можешь так говорить! Да быть того не может!

– Ой, какая лилия!

– Майечка, цыганочка, а если бросят?

– Смотри, Сашка-то, Сашка-то!

– Так уж сразу и влюбиться, что ты, что ты!

– Улька, чудик, куда ты полезла?

– Ещё утонете, скаженные!..

Они говорили на том характерном для Донбасса смешанном грубоватом наречии, которое образовалось от скрещения языка центральных русских губерний с украинским народным говором, донским казачьим диалектом и разговорной манерой азовских портовых городов – Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону. Но, как бы ни говорили девушки по всему белу свету, все становится милым в их устах.

– Улечка, и зачем она тебе сдалась, золотко моё? – говорила Валя, беспокожно глядя добрыми, широко расставленными глазами, как уже не только загорелые икры, но и белые колени подруги ушли под воду.

Осторожно нащупывая поросшее водорослями дно одной ногой и выше подобрав подол, так что видны стали края её чёрных штанишек, Уля сделала ещё шаг и, сильно перегнув высокий стройный стан, свободной рукой подцепила лилию. Одна из тяжёлых чёрных кос с пушистым расплетённым концом опрокинулась в воду и поплыла, но в это мгновение Уля сделала последнее, одними пальцами, усилие и выдернула лилию вместе с длинным-длинным стеблем.

– Молодец, Улька! Своим поступком ты вполне заслужила звание героя союза... Не всего Советского Союза, а скажем, нашего союза неприкаянных дивчат с рудника Первомайки! – стоя по икры в воде, вытаращив на подругу округлившиеся мальчишеские карие глаза, говорила Саша. – Давай квитку! – И она, зажав между колен юбку, своими ловкими тонкими пальцами вправила лилию в чёрные, крупно вьющиеся по вискам и в косах Улины волосы. – Ой, как идёт тебе, аж завидки берут!.. Обожди, – вдруг сказала она,

подняв голову и прислушиваясь. – Скребётся где-то... Слышите, девочки? Вот проклятый!..

Саша и Уля быстро вылезли на берег.

Все девушки, подняв головы, прислушивались к прерывистому, то тонкому, осиному, то низкому, урчащему рокоту, стараясь разглядеть самолёт в раскалённом добела воздухе.

– Не один, а целых три!

– Где, где? Я ничего не вижу...

– Я тоже не вижу, я по звуку слышу...

Вибрирующие звуки моторов то сливались в одно нависающее грозное гудение, то распадались на отдельные, пронзительные или низкие, рокочущие звуки. Самолёты гудели уже где-то над самой головой, и, хотя их не было видно, точно чёрная тень от их крыльев прошла по лицам девушек.

– Должно быть, на Каменск полетели, переправу бомбить...

– Или на Миллерово.

– Скажешь – на Миллерово! Миллерово сдали, разве не слыхала сводку вчера?

– Все одно, бои идут южнее.

– Что же нам делать, дивчата? – говорили девушки, снова невольно прислушиваясь к раскатам дальней артиллерийской стрельбы, которая, казалось, приблизилась к ним.

Как ни тяжела и ни страшна война, какие бы жестокие потери и страдания ни несла она людям, юность с её здоровьем и радостью жизни, с её наивным добрым эгоизмом, любовью и мечтами о будущем не хочет и не умеет за общей опасностью и страданием видеть опасность и страдание для себя, пока они не нагрянут и не нарушат её счастливой походки.

Уля Громова, Валя Филатова, Саша Бондарева и все остальные девушки только этой весной окончили школу-десятилетку на руднике Первомайском.

Окончание школы – это немаловажное событие в жизни молодого человека, а окончание школы в дни войны – это событие совсем особенное.

Все прошлое лето, когда началась война, школьники старших классов, мальчики и девочки, как их все ещё звали, работали в прилегающих к городу Краснодону колхозах и совхозах, на шахтах, на паровозостроительном заводе в Ворошиловграде, а

некоторые ездили даже на Сталинградский тракторный, делавший теперь танки.

Осенью немцы вторглись в Донбасс, заняли Таганрог и Ростов-на-Дону. Из всей Украины одна Ворошиловградская область ещё оставалась свободной от немцев, и власть из Киева, отступавшая с частями армии, перешла в Ворошиловград, а областные учреждения Ворошиловграда и Сталино, бывшей Юзовки, расположились теперь в Краснодоне.

До глубокой осени, пока установился фронт на юге, люди из занимаемых немцами районов Донбасса все шли и шли через Краснодон, меся рыжую грязь по улицам; и казалось, грязи становится все больше и больше оттого, что люди наносят её со степи на своих чёботах. Школьники совсем было приготовились к эвакуации в Саратовскую область вместе со своей школой, но эвакуацию отменили. Немцы были задержаны далеко перед Ворошиловградом, Ростов-на-Дону у немцев отбили, а зимой немцы понесли поражение под Москвой, началось наступление Красной Армии, и люди надеялись, что все ещё обойдётся.

Школьники привыкли к тому, что в их уютных квартирах, в стандартных каменных, под этернитовыми крышами домиках в Краснодоне, и в хуторских избах «Первомайки», и даже в глиняных мазанках на «Шанхае» – в этих маленьких квартирках, казавшихся в первые недели войны опустевшими оттого, что ушёл на фронт отец или брат, – теперь живут, ночуют чужие люди: работники пришлых учреждений, бойцы и командиры ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной Армии.

Они научились распознавать все роды войск, воинские звания, виды оружия, марки мотоциклов, грузовых и легковых машин, своих и трофейных. С первого взгляда разгадывали типы танков – не только тогда, когда танки тяжело отдыхали где-нибудь сбоку улицы, под прикрытием тополей, в мареве струящегося от брони раскалённого воздуха, а и когда, подобно грому, катились по пыльному ворошиловградскому шоссе или буксовали по осенним, расползшимся, и по зимним, заснеженным, военным шляхам на запад.

Они уже не только по обличью, а и по звуку различали свои и немецкие самолёты, различали их и в пылающем от солнца, и в красном от пыли, и в звёздном, и в чёрном, несущемся вихрем, как сажа в аду, донецком небе.

– Это наши «лаги» (или «миги», или «яки»), – говорили они спокойно.

– Вон «мессера» пошли!..

– Это «Ю-87» пошли на Ростов, – небрежно говорили они.

Они привыкли к ночным дежурствам по отряду ПВХО, дежурствам с противогазом через плечо на шахтах, на крышах школ, больниц. И никто уже не содрогался сердцем, когда воздух сотрясался от дальней бомбёжки и лучи прожекторов, как спицы, скрещивались вдали, в ночном небе над Ворошиловградом, и зарева пожаров вставали то там, то здесь по горизонту или когда вражеские пикировщики среди бела дня обрушивали фугаски на тянувшиеся далеко в степи колонны грузовиков, а потом с воем били из пушек и пулемётов вдоль по шоссе, от которого в обе стороны, как распоротая глицсером вода, разбегались бойцы и кони.

Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни во весь голос на ветру с грузовиков в степи; полюбили летнюю страду среди необъятных пшениц, изнемогающих под тяжестью зёрна, душевные разговоры и внезапный смех в ночной тиши, где-нибудь в овсяной полове; полюбили долгие бессонные ночи на крыше, когда горячая ладонь девушки, не шелохнувшись, и час, и два, и три покоится в шершавой руке юноши, и утренняя заря занимается над бледными холмами, и роса блестит на сероватых крышах, каплет со свернувшихся осенних листочков акаций прямо на землю в палисаднике, и пахнет гниющими в сырой земле корнями отвянувших цветов и дымом дальних пожаров, и петух кричит так, будто ничего не случилось...

И вот этой весной они окончили школу, простились со своими учителями и организациями, и война, точно она их ждала, глянула им прямо в очи.

23 июня наши войска отошли на Харьковском направлении. А 3 июля, как гром, разразилось сообщение по радио, что нашими войсками после восьмимесячной обороны оставлен город Севастополь.

Старый Оскол, Россось, Кантемировка, бои западнее Воронежа, бои на подступах к Воронежу, 12 июля – Лисичанск. И вдруг хлынули через Краснодон наши отступающие части.

Лисичанск – это было уже совсем рядом. Лисичанск – это значило, что завтра в Ворошиловград, а послезавтра сюда, в

Краснодон и «Первомайку», на знакомые до каждой травинки улочки с пыльными жасминами и сиренями, выпирающими из палисадников, в дедов садочек с яблонями, в прохладную, с закрытыми ставенками, хату, где ещё висит на гвозде шахтёрская куртка отца, как он её сам повесил, придя с работы, перед тем как идти в военкомат, – в ту самую хату, где материнские тёплые, в жилочках руки вымыли до блеска каждую половицу, и полили китайскую розу на подоконнике, и набросили на стол пахнущую свежестью сурового полотна цветастую скатёрку, – может войти, войдёт фашист-немец!

За время передышки в городе так прочно, будто на всю жизнь, обосновались очень положительные, рассудительные, всегда все знавшие бритые майоры-интенданты. Они с весёлыми прибаутками перекидывались с хозяевами в карты, покупали на базаре солёные кавуны, охотно объясняли положение на фронтах и при случае даже не щадили консервов для хозяйского борща. В клубе имени Горького при шахте № 1-бис и в клубе имени Ленина, в городском парке всегда крутилось много лейтенантов, любителей потанцевать, весёлых и не то обходительных, не то озорных – не поймёшь. Лейтенанты то появлялись в городе, то исчезали, но всегда наезжало много новых, и девушки так привыкли к их постоянно меняющимся загорелым мужественным лицам, что все они казались уже одинаково своими.

И вдруг их сразу никого не стало.

На станции Верхнедудуванной, этом мирном полустанке, где, возвращаясь из командировки или поездки к родне или на летние каникулы после года учения в вузе, каждый краснодонец считал себя уже дома, – на этой Верхнедудуванной и по всем другим станциям железной дороги на Лихую – Морозовскую – Сталинград грудились станки, люди, снаряды, машины, хлеб.

Из окон домиков, затенённых акациями, кленочками, тополями, слышался плач детей, женщин. Там мать снаряжала ребёнка, уезжавшего с детским домом или школой, там провожали дочь или сына, там муж или отец, покидавший город со своей организацией, прощался с семьёй. А в иных домиках с закрытыми наглухо ставнями стояла такая тишина, что ещё страшнее материнского плача, – дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха мать, проводив всю семью, опустив чёрные руки,

неподвижно сидела в горнице, не в силах уже и плакать, с железною мукою в сердце.

Девушки просыпались утром под звуки дальних оружейных выстрелов, ссорились с родителями, – девушки убеждали родителей уезжать немедленно и оставить их одних, а родители говорили, что жизнь их уже прошла, а вот девушкам-комсомолкам надо уходить от греха и беды, – девушки наскоро завтракали и бежали одна к другой за новостями. И так, сбившись в стайку, как птицы, изнемогая от жары и неприкаянности, они то часами сидели в полутёмной горенке у одной из подруг или под яблоней в садочке, то убегали в тенистую лесную балку у речки, в тайном предчувствии несчастья, какое они даже не в силах были охватить ни сердцем, ни разумом.

И вот оно разразилось.

– Ворошиловград уже, поди, сдали, а нам не говорят! – резким голосом сказала маленькая широколицая девушка с остреньким носом, блестящими, гладкими, точно приклеенными, волосами и двумя короткими и бойкими, торчащими вперёд косицами.

Фамилия этой девушки была Вырикова, а звали её Зиной, но с самого детства никто в школе не звал её по имени, а только по фамилии: Вырикова да Вырикова.

– Как ты можешь так рассуждать, Вырикова? Не говорят – значит, ещё не сдали, – сказала Майя Пегливанова, природно смуглая, как цыганка, красивая черноокая девушка, и самолюбиво поджала нижнюю полную своевольную губку.

В школе, до выпуска этой весной, Майя была секретарём комсомольской организации, привыкла всех поправлять и всех воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы всегда все было правильно.

– Мы давно знаем все, что ты можешь сказать: «Девочки, вы не знаете диалектики!» – сказала Вырикова так похоже на Майю, что все девушки засмеялись. – Скажут нам правду, держи карман пошире! Верили, верили и веру потеряли! – говорила Вырикова, посверкивая близко сведёнными глазами и, как жучок – рожки, воинственно топыря свои торчащие вперёд острые косицы. – Наверно, опять Ростов сдали, нам и тикать некуда. А сами драпают! – сказала Вырикова, видимо повторяя слово, которое она часто слышала.

– Странно ты рассуждаешь, Вырикова, – стараясь не повышать голоса, говорила Майя. – Как можешь ты так говорить? Ведь ты же комсомолка, ты ведь была пионервожатой!

– Не связывайся ты с ней, – тихо сказала Шура Дубровина, молчаливая девушка постарше других, коротко остриженная по-мужски, безбровая, с диковатыми светлыми глазами, придававшими её лицу странное выражение.

Шура Дубровина, студентка Харьковского университета, в прошлом году, перед занятием Харькова немцами, вернулась в Краснодар к отцу, сапожнику и шорнику. Она была года на четыре старше остальных девушек, но всегда держалась их компании; она была тайно, по-девичьи, влюблена в Майю Пегливанову и всегда и везде ходила за Майей, – «как нитка за иголкой», говорили девушки.

– Не связывайся ты с ней. Коли она уже такой колпак надела, ты её не переколпачишь, – сказала Шура Дубровина Майе.

– Все лето гоняли окопы рыть, сколько на это сил убили, я так месяц болела, а кто теперь в этих окопах сидит? – не слушая Майи, говорила маленькая Вырикова. В окопах трава растёт! Разве не правда?

Тоненькая Саша с деланным удивлением приподняла острые плечи и, посмотрев на Вырикову округлившимися глазами, протяжно свистнула.

Но, видно, не столько то, что говорила Вырикова, сколько общее состояние неопределённости заставляло девушек с болезненным вниманием прислушиваться к её словам.

– Нет, в самом деле, ведь положение ужасное? – робко взглядывая то на Вырикову, то на Майю, сказала Тоня Иванихина, самая младшая из девушек, длинноногая, почти девочка, с крупным носом и толстыми, заправленными за крупные уши прядями темно-каштановых волос. В глазах у неё заблестели слезы.

С той поры как в боях на Харьковском направлении пропала без вести её любимая старшая сестра Лиля, с начала войны ушедшая на фронт военным фельдшером, все, все на свете казалось Тоне Иванихиной непоправимым и ужасным, и её унылые глаза всегда были на мокром месте.

И только Уля не принимала участия в разговоре девушек и, казалось, не разделяла их возбуждения. Она расплела замокший в реке конец длинной чёрной косы, отжала волосы, заплела косу,

потом, выставляя на солнце то одну, то другую мокрые ноги, некоторое время постояла так, нагнув голову с этой белой лилией, так шедшей к её чёрным глазам и волосам, точно прислушиваясь к самой себе. Когда ноги обсохли, Уля продолговатой ладошкой обтёрла подошвы загорелых по высокому суховатому подъёму и словно обведённых светлым ободком по низу ступнёй, обтёрла пальцы и пятки и ловким, привычным движением сунула ноги в туфли.

– Эх, дура я, дура! И зачем я не пошла в спецшколу, когда мне предлагали? – говорила тоненькая Саша. – Мне предлагали в спецшколу энкаведе, – наивно разъяснила она, поглядывая на всех с мальчишеской беспечностью, – осталась бы я здесь, в тылу у немцев, вы бы даже ничего не знали. Вы бы тут все как раз зажурились, а я себе и в ус не дую. «С чего бы это Сашка такая спокойная?» А я, оказывается, здесь остаюсь от энкаведе! Я бы этими дурачками из гестапо, – вдруг фыркнула она, с лукавой издёвкой взглянув на Вырикову, – я бы этими дурачками вертела, как хотела!

Уля подняла голову и серьёзно и внимательно посмотрела на Сашу, и что-то чуть дрогнуло у неё в лице: то ли губы, то ли тонкие, причудливого выреза ноздри.

– Я без всякого энкаведе останусь. А что? – сердито выставляя свои рожки-косицы, сказала Вырикова. – Раз никому нет дела до меня, останусь и буду жить, как жила. А что? Я учащаяся, по немецким понятиям вроде гимназистки: все ж таки они культурные люди, что они мне сделают?

– Вроде гимназистки?! – вдруг вся порозовев, воскликнула Майя.

– Только что из гимназии, здрасте!

И Саша так похоже изобразила Вырикову, что девушки снова рассмеялись.

И в это мгновение тяжёлый страшный удар, потрясший землю и воздух, оглушил их. С деревьев посыпались жухлые листки, древесная пыль с коры, и даже по воде прошла рябь.

Лица у девушек побледнели, они несколько секунд молча глядели друг на друга.

– Неужто сбросил где-нибудь? – спросила Майя.

– Они ж давно пролетели, а новых не слышать было! – с расширенными глазами сказала Тоня Иванихина, всегда первая чувствовавшая несчастье.

В этот момент два взрыва, почти слившихся вместе, – один совсем близкий, а другой чуть запоздавший, отдалённый, – потрясли окрестности.

Словно по уговору, не издав ни звука, девушки кинулись к посёлку, мелькая в кустах загорелыми икрами.

Глава вторая

Девушки бежали по выжженной солнцем и вытоптанной овцами и козами настолько, что пыль взбивалась из-под ног, донецкой степи. Казалось невероятным, что их только что обнимала свежая лесная зелень. Балка, где протекала река с тянувшейся по её берегам узкой полосой леса, была так глубока, что, отбежав триста-четырееста шагов, девушки не могли уже видеть ни балки, ни реки, ни леса – степь поглотила все.

Это не была ровная степь, как Астраханская или Сальская, – она была вся в холмах и балках, а далеко на юге и на севере вздымалась высокими валами по горизонту, этими выходами на поверхность земли крыльев гигантской синклинали, внутри которой, как в голубом блюде, плавал раскалённый добела воздух.

То там, то здесь по изборождённому лицу этой выжженной голубой степи, на холмах и в низинах, виднелись рудничные посёлки, хутора среди ярко– и темно-зелёных и жёлтых прямоугольников пшеничных, кукурузных, подсолнуховых, свекловичных полей, одинокие копры шахт, а рядом – высокие, выше копров, темно-голубые конусы терриконов, образованных выброшенной из шахт породой.

По всем дорогам, связывавшим между собой посёлки и рудники, тянулись группы беженцев, стремившихся попасть на дороги на Каменск и на Лихую.

Отзвуки дальнего ожесточённого боя, вернее – многих больших и малых боев, шедших на западе и северо-западе и где-то совсем уже далеко на севере, были явственно слышны здесь, в открытой степи. Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными облаками лежали то там, то здесь по горизонту.

Девушкам, едва они выбежали из лесной балки, прежде всего бросились в глаза три новых очага дыма – два ближних и один дальний – в районе самого города, ещё не видного за холмами. Это были серые слабые дымки, медленно рассеивавшиеся в воздухе, и, может быть, девушки даже не обратили бы на них внимания, если бы не эти взрывы и не терпкий, как бы чесночный запах, все более чувствовавшийся по мере того, как девушки приближались к городу.

Они взбежали на круглый холм перед посёлком Первомайским, и глазам их открылись и самый посёлок, разбросанный по буграм и низинам, и шоссе из Ворошиловграда, пролежавшее здесь по гребню длинного холма, отделявшего посёлок от города Краснодона. По всему видимому отсюда протяжению шоссе густо шли воинские части и колонны беженцев и, обгоняя их, неистово ревя клаксонами, мчались машины – обыкновенные гражданские и военные, раскрашенные под зелень, побитые и пыльные, машины грузовые, легковые, санитарные. И рыжая пыль, вновь и вновь взбиваемая этим множеством ног и колёс, витым валом стояла в воздухе на всем протяжении шоссе.

И тут случилось невозможное, непостижимое: железобетонный копёр шахты № 1-бис, могучий корпус которого один из всех городских строений виден был по ту сторону шоссе, вдруг пошатнулся. Толстый веер взметённой ввысь породы на мгновение закрыл его, и новый страшный подземный удар, гулом раскатившийся по воздуху и где-то под ногами, заставил девушек содрогнуться. А когда все рассеялось, никакого копра уже не было. Тёмный, поблёскивающий на солнце конус гигантского террикона неподвижно стоял на своём месте, а на месте копра клубами вздымался грязный жёлто-серый дым. И над шоссе, и над взбаламученным посёлком Первомайским, и над невидным отсюда городом, над всем окружающим миром стоял какой-то слитный протяжный звук, точно стон, в котором чуть всплёскивали далёкие человеческие голоса, – то ли они плакали, то ли проклинали, то ли стонали от муки.

Все это: мчащиеся машины, и идущие непрерывным потоком люди, и этот взрыв, потрясший небо и землю, и исчезновение копра, – все это одним мгновенным, страшным впечатлением обрушилось на девушек. И все чувства, что стеснились в их душах, вдруг пронизало одно невыразимое

чувство, более глубокое и сильное, чем ужас за себя, – чувство развершейся перед ними бездны конца, конца всему.

– Шахты рвут!.. Девочки!..

Чей это был вопль? Кажется, Тони Иванихиной, но он точно вырвался из души каждой из них:

– Шахты рвут!.. Девочки!..

Они больше ничего не сказали, не успели, не смогли сказать друг другу. Группа их сама собой распалась: большинство девушек побежало в посёлок, по домам, а Майя, Уля и Саша побежали ближней тропинкой через шоссе в город, в райком комсомола.

Но в ту самую секунду, как они, не сговариваясь, распались на две группы, Валя Филатова вдруг схватила любимую подругу за руку.

– Улечка! – сказала она робким, униженным, просящим голосом. – Улечка! Куда ты? Идём домой... – Она запнулась. – Ещё что случится...

А Уля круто, всем корпусом обернулась к ней и молча взглянула на неё, – нет, даже не на неё, а как бы сквозь неё, в далёкую-далёкую даль, и в чёрных глазах её было такое стремительное выражение, будто она летела, – должно быть, такое выражение глаз бывает у летящей птицы.

– Обожди, Улечка... – сказала Валя умоляющим голосом и притянула её за руку, а другой, свободной рукой быстро вынула лилию из чёрных вьющихся волос Ули и бросила на землю.

Все это произошло так быстро, что Уля не только не успела подумать, зачем Валя сделала это, но просто не заметила этого. И вот они, не отдавая себе в том отчёта, за время их многолетней дружбы впервые побежали в разные стороны.

Да, трудно было поверить, что все это правда, но, когда три девушки во главе с Майей Пегливановой пересекли шоссе, они убедились в этом своими глазами: рядом с гигантским конусовидным терриконом шахты № 1-бис уже не было стройного красавца копра со всеми его могучими подъёмными приспособлениями, только жёлто-серый дым всходил клубами к небу, наполняя все вокруг невыносимым чесночным запахом.

Новые взрывы, то более близкие, то отдалённые, потрясали землю и воздух.

Кварталы города, примыкавшие к шахте № 1-бис, были отделены от центра города глубокой балкой с протекающим по дну

её грязным, заросшим осокой ручьём. Весь этот район, если не считать балки с лепящимися по её склонам вдоль ручья глинобитными мазанками, был, как и центр города, застроен одноэтажными каменными домиками, рассчитанными на две-три семьи. Домики крыты были черепицей или этернитом, перед каждым был разбит палисадник – частью под огородом, частью в клумбах с цветами. Иные хозяева вырастили уже вишни, или сирень, или жасмин, иные высадили рядком, внутри, перед аккуратным крашеным заборчиком, молодые акации, кленочки. И вот среди этих аккуратных домиков и палисадников теперь медленно текли колонны рабочих, служащих, мужчин и женщин, перемежаемые грузовиками с имуществом предприятий и учреждений Краснодона.

Все так называемые «неорганизованные жители» высыпали из своих домиков. С выражением страдания, а то и любопытства одни смотрели из своих палисадников на уходящих, другие тащились по улицам вдоль колонн, с узлами и мешками, с тачками, где среди семейного добра сидели малые дети, иные женщины несли младенцев на руках. Подростки, привлечённые взрывом, бежали к шахте № 1-бис, но там стояла цепь милиционеров и не пускала. А навстречу катился поток людей, бежавших от шахты, в который вливались с улочки, со стороны рынка, разбежавшиеся женщины-колхозницы с корзинами и тачками с зеленью и снедью, повозки, запряжённые лошадьми, и возы, запряжённые волами.

Люди в колоннах шли молча, с сумрачными лицами, сосредоточенными на одной думе, настолько поглотившей их, что казалось, люди в колоннах даже не замечают того, что творится вокруг. И только шагавшие обок руководители колонн то останавливались, то забегали вперёд, чтобы помочь пешим и конным милиционерам навести порядок среди беженцев, запрудивших улицы и мешавших движению колонн.

Женщина в толпе перехватила Майю за руку, и Саша Бондарева тоже остановилась возле них, а Уля, стремившаяся только как можно скорее попасть в райком, бежала дальше вдоль заборов, грудью налетая на встречных, как птица.

Зелёный грузовик, с рёвом выползший из-за поворота из балки, откинул Улю вместе с другими людьми к палисаднику одного из стандартных домиков. Если бы не калитка, Уля сбила бы с ног небольшого роста, белокурую, очень изящно сложенную, как

выточенную, девушку со вздёрнутым носиком и прищуренными голубыми глазами, стоявшую у самой калитки, между двух свисавших над ней пыльных кустов сирени.

Как ни странно это было в такой момент, но, налетев на калитку и едва не сбив эту девушку, Уля в каком-то мгновенном озарении увидела эту девушку кружащейся в вальсе. Уля слышала даже музыку вальса, исполняемую духовым оркестром, и это видение вдруг больно и сладко пронзило сердце Ули, как видение счастья.

Девушка кружилась на сцене и пела, кружилась в зале и пела, она кружилась до утра со всеми без разбора, она никогда не уставала и никому не отказывала покружиться с ней, и голубые её глаза, её маленькие ровные белые зубы сверкали от счастья. Когда это было? Это было, должно быть, перед войной, это было в той жизни, это было во сне.

Уля не знала фамилии этой девушки, все звали её Люба, а ещё чаще – Любка. Да, это была Любка, «Любка-артистка», как иногда называли её мальчишки.

Самое поразительное было то, что Любка стояла за калиткой среди кустов сирени совершенно спокойная и одетая так, точно она собирается идти в клуб. Её розовое личико, которое она всегда оберегала от солнца, и аккуратно подвитые и уложенные валом золотистые волосы, маленькие, словно выточенные из слоновой кости руки с блестящими ноготками, будто она только что сделала маникюр, и маленькие стройные полные ножки, обутые в лёгкие кремовые туфельки на высоких каблуках, – все это было такое, точно Любка вот-вот выйдет на сцену и начнёт кружиться и петь.

Но ещё больше поразило Улю то необыкновенно задиристое и в то же время очень простодушное и умное выражение, которое было в её розовом, с чуть вздёрнутым носиком лице, в полных губах немного большого для её лица, наруганного рта, а главное – в этих прищуренных голубых, необыкновенно живых глазах.

Она, как к чему-то совершенно естественному, отнеслась к тому, что Уля едва не выломала перед ней калитку, и, не взглянув на Улю, продолжала спокойно и дерзко смотреть на все, что происходило на улице, и кричала черт знает что.

– Балда! Ты что ж людей давишь?.. Видать, сильно у тебя ослабила гайка, коли ты людей не можешь переждать! Куда?

Куда?.. Ах ты, балда – новый год! – задрав носик и посверкивая голубыми в пушистых ресницах глазами, кричала она водителю грузовика.

Водитель, как раз для того, чтобы люди схлынули, застопорил машину напротив калитки.

Грузовик был полон имущества милиции под охраной нескольких милиционеров.

– Вон вас сколько поналазило, блюстители! – обрадовавшись этому новому поводу, закричала Любка. – Нет того, чтобы народ успокоить, сами – фьюить!..

– И она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка.

– И чего звонит, дура! – обиженный этой явной несправедливостью, огрызнулся с грузовика милицейский начальник, сержант.

Но, видно, он сделал это на беду себе.

– А, товарищ Драпкин! – приветствовала его Любка. – Откуда это ты выискался, красный витязь?

– Замолчишь ты или нет?.. – вспыхнул вдруг «красный витязь», сделав движение, будто хочет выпрыгнуть.

– Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать! – не повышая голоса и нисколько не сердясь, сказала Любка. – Счастливого пути, товарищ Драпкин! – И она небрежным мягким движением своей маленькой руки напутствовала побагровевшего от ярости, но действительно так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицейского начальника.

Человек со стороны, слыша такие её высказывания, при этой её внешности и при том, что она спокойно оставалась на месте, когда все вокруг бежало, мог бы принять её за злейшую «контру», поджидающую немцев и издевающуюся над несчастьем советских людей, если бы не это простодушное детское выражение в её голубых глазах и если бы её реплики не были направлены большей частью тем людям, которые их действительно заслужили.

– Эй ты, в шляпе! Гляди-ка, сколько на жинку навалил, а сам пустой идёшь! – кричала она. – Жинка у тебя вон какая маленькая. Ещё шляпу надел!.. Горе мне с тобой!..

– Ты что, бабушка, под шумок колхозные огурцы ешь? – кричала она старухе на возу. – Думаешь, советская власть уходит,

так уже тебе и не отчитаться ни перед кем? А бог на небе? Он, думаешь, не видит? Он все видит!..

Никто не обращал на её реплики внимания, и она не могла не видеть этого, – похоже было, что она восстанавливает справедливость для собственного развлечения. Её бесстрашие и спокойствие так понравились Уле, что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и обратилась прямо к ней:

– Люба, я комсомолка с Первомайки, Ульяна Громова. Скажи мне, с чего все это началось?

– Обыкновенно... – охотно ответила Любка, дружелюбно обратив свои голубые сияющие и дерзкие глаза на Улю. – Наши оставили Ворошиловград, оставили ещё на заре. Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям...

– А райком комсомола? – упавшим голосом спросила Уля.

– Ты что, облезлый, девчонку бьёшь? У, злыдень! Вот выйду, наподдам тебе! – тоненьким голоском завопила Любка какому-то мальчишке в толпе. – Райком комсомола? – переспросила она. – Райком комсомола, он, как и полагается, в авангарде, он ещё на заре выехал... Ну что ты, девушка, глаза вылупила? – сердито сказала она Уле. Но вдруг, взглянув на Улю и поняв, что происходило в её душе, улыбнулась: – Я шутю, шутю... Ясно, приказали ему, вот он и выехал, не сбежал. Ясно тебе?

– А как же мы? – вдруг вся переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля.

– А ты, стало быть, тоже уезжай. Команда такая ещё с утра дана. Где ж ты была с утра?

– А ты? – в упор спросила Уля.

– Я?.. – Люба помолчала, и умное лицо её вдруг приняло постороннее, безразличное выражение. – А я ещё посмотрю, – сказала она уклончиво.

– А ты разве не комсомолка? – настойчиво спрашивала Уля, и её большие чёрные глаза с сильным и гневным выражением на мгновение встретились с прищуренными, насторожёнными глазами Любки.

– Нет, – сказала Любка, чуть поджав губы, и отвернулась. – Папка! – вскрикнула она и, распахнув калитку, побежала на своих высоких каблучках навстречу группе людей, которые, заметно выделяясь среди толпы, испуганно и с каким-то неожиданным почтением расступавшейся перед ними, шли сюда, к дому.

Впереди шли директор шахты № 1-бис Валько, плотный, бритый мужчина лет пятидесяти, в пиджаке и сапогах, с лицом мрачным и чёрным, как у цыгана, и известный всему городу знатный забойщик той же шахты Григорий Ильич Шевцов. За ними шло ещё несколько шахтёров и двое военных. А позади, на некотором расстоянии, катилась сборная, из разных людей, толпа любопытных: даже в самые необычные и тяжёлые моменты жизни среди людей находится известное число просто любопытных.

Григорий Ильич и другие шахтёры были в спецовках с откинутыми башлыками. Вся их одежда, лица, руки были в угле. Один из них нёс через плечо тяжёлый моток электрического кабеля, другой – ящик с инструментами, а в руках у Шевцова был какой-то странный металлический аппарат с торчащими из него концами обнажённого провода.

Они шли молча и точно боясь встретиться глазами с кем-либо из толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды, катился по их измазанному углём лицам. И лица их были такие измученные, точно эти люди несли на себе непомерную тяжесть.

И Уля вдруг поняла, почему все на улице загодя испуганно расступались перед ними, – вся дорога была перед ними свободна. Это были люди, которые собственными руками взорвали шахту № 1-бис – гордость Донецкого бассейна.

Любка подбежала к Григорию Ильичу, взяла его за тёмную жилистую руку своей маленькой белой ручкой, которую он сразу крепко сжал, и пошла рядом с ним.

В это время шахтёры во главе с директором шахты Валько и Шевцовым подошли к калитке и с явным облегчением сбросили через заборчик в палисадник, прямо на цветы, предметы, которые они несли, – моток кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический аппарат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой возможны были и эти цветы и многое другое, – все это было уже кончено.

Люди сбросили все это и некоторое время постояли, не глядя друг на друга, в какой-то неловкости.

– Ну что ж, Григорий Ильич, собирайся швидче, машина на мази, людей посажу и всем гамузом за тобой, – сказал Валько, не подымая на Шевцова глаз из-под своих широких и сросшихся, как у цыгана, бровей.

И он в сопровождении шахтёров и военных медленно пошёл дальше по улице.

У калитки остались Григорий Ильич с Любкой, которую он по-прежнему держал за руку, и старик шахтёр с прокуренными до желтизны, редкими, точно выщипанными усами и бородкой, до крайности высохший и голенастый. И Уля, на которую они не обращали внимания, тоже стояла рядом, словно решение вопроса, который её мучил, она могла получить только здесь.

– Любовь Григорьевна, кому сказано? – сердито сказал Григорий Ильич, взглянув на девушку, не отпуская, однако, её руки.

– Сказала, не поеду, – угрюмо отозвалась Любка.

– Не дури, не дури, – явно волнуясь, тихо сказал Григорий Ильич. – Как можешь ты не ехать? Комсомолка.

Любка, вспыхнув, вскинула глаза на Улю, но в лице её тотчас появилось строптивное, даже нахальное выражение.

– Комсомолка без году неделя, – сказала она, поджав губы. – Кому я что сделала? И мне ничего не сделают... Мне мать жалко, – добавила она тихо.

«Отреклась от комсомола!» – вдруг с ужасом подумала Уля. Но в то же мгновение мысль о собственной больной матери жаром отозвалась в груди её.

– Ну, Григорий Ильич, – таким страшным низким голосом, что удивительно было, как он выходил из такого высохшего тела, сказал старик, – пришло время нам расставаться... Прощай... – И он прямо посмотрел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему перед ним со склонённой головой.

Григорий Ильич молча стащил с головы кепку. У него были светло-русые волосы и худое, с глубокими продольными бороздами, лицо пожилого русского мастерового, с голубыми глазами. Хотя он был уже не молод и одет был в эту неуклюжую спецовку и лицо и руки его были в угле, чувствовалось, что он хорошо сложен и крепок, и красив старинной русской красотой.

– А может, рискнёшь с нами? А? Кондратович? – спросил он, не глядя на старика и явно конфузясь.

– Куда же нам со старухой? Пушай уж нас наши дети с Красной Армией вызволяют.

– А старший твой что ж? – спросил Григорий Ильич.

– Старший? О нем что ж и говорить, – сумрачно сказал старик и махнул рукой с таким выражением, как будто хотел сказать: «Ведь ты и сам знаешь мой позор, зачем же спрашиваешь?» – Прощай, Григорий Ильич, – печально сказал он и протянул Шевцову высохшую костистую руку.

Григорий Ильич подал свою. Но что-то было ещё недосказано ими, и они, держа друг друга за руку, ещё постояли некоторое время.

– Да... что ж... Моя старуха и, вишь, дочка тоже остаются, – медленно говорил Григорий Ильич. Голос его вдруг пресёкся. – Как это мы её, Кондратович? А?.. Красавицу нашу... Всея, можно сказать, страны кормилицу... Ах!.. – вдруг необыкновенно тихо выдохнул он из самой глубины души, и слезы, сверкающие и острые, как кристаллы, выпали на его измазанное углём лицо.

Старик, хрипло всхлипнув, низко наклонил голову. И Любка заплакала навзрыд.

Уля, кусая губы, не в силах удержать душившие её слезы бессильной ярости, побежала домой, на «Первомайку».

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.